



Генри Лайон
ОЛДИ

БЕЗДНА
ГОЛОДНЫХ ГЛАЗ

КЛАССИКА ФИЛОСОФСКОГО БОЕВИКА

Бездна Голодных глаз

Генри Олди
Войти в образ

«Автор»

1991

Олди Г. Л.

Войти в образ / Г. Л. Олди — «Автор», 1991 — (Бездна
Голодных глаз)

Девять жизней в запасе у каждого, но всего лишь одна у несчастного уроды,
увидевшего свет в последней, нечаянно удачной, попытке состояться. Один за
другим уходят боги, вливаясь в душу Сарта-Мифотворца. Только так можно
подхватить, удержать, поднять крышу Дома-на-Перекрестке, готовую в любой
момент рухнуть на наши головы.<a href="http://www.youtube.com/watch?
v=ZmPWDRNyihE&feature=share&list=UUlng6er2FzQDLBRNG_rCmYw">В
о цикле «Бездна Голодных глаз»

© Олди Г. Л., 1991

© Автор, 1991

Содержание

Акт I	5
Глава 1	5
Глава 2	8
Сон	11
Глава 3	14
Глава 4	18
Сон	22
Глава 5	24
Глава 6	27
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Генри Лайон Олди

Войти в образ

*Стыдно убивать героев только для того, чтобы растрогать
холодных и расшевелить равнодушных. Терпеть я этого не могу.
Поговорим о другом.*

Е. Шварц

...и ад следовал за ним.
Откровение Иоанна Богослова

Акт I

По образу и подобию

Глава 1

*Я скалы не стесал в подушках.
Я спал в седле —
Как люди.
Мне город ваш —
Кость в горле неба.
Затопчу его —
И снова за солнцем скакать.*

Кан-ипа лениво покачивался в седле, и мысли его, протяжные и бесформенные мысли, плавно текли над оживающей после ночной тишины степью, в такт ровному перестуку копыт мохнатого низкорослого конька. Всадник полуприкрыл глаза, и перед его внутренним взглядом расстилалась все та же степь — темнея неглубокими впадинами, вспыхивая стальными клинками рек, вливаясь в по-женски округлые склоны холмов, и вдруг — огромным гнойным пузырем, грозящим прорваться закованным в сталь потоком, — Город... Город, черная опухоль на теле земли, расползающаяся каменными неизлечимыми рубцами по священной непрерывности простора и свободы...

Сам Кан-ипа Города никогда не видел. И никто из его сверстников не видел. Да и немногие старейшины могли похвастаться памятью о взметнувшихся к небу крепостных башнях, схожих с чудовищными грибами; памятью о шумных торжищах в короткие годы перемирий; да и просто памятью не всегда могли похвастаться белобородые морщинистые старейшины.

Шесть десятков летних выпасов, шесть десятков зимних пронизывающих ветров, как шестьдесят воинов охраны стойбища, прошли со времени Четвертого нашествия, и позор его до сих пор не смыт кровью живущих под крышами!.. Отправились на вечную кочевку в голубых просторах те, кто выжил после бронированного удара городских дружин; Бездна приняла имена шаманов, державших Слово проклятых колдунов из каменных островерхих гробов; и багряными соцветиями покрывается ежегодно погребальный холм великого Вождя степей Ырамана, сына Кошоя, сына Ахайя, сына Эрлика, сына...

Сколько их, чьих-то неистовых сыновей, садилось с тех пор на белую кошму племени пуран? Кан-ипа не знал точного числа. Много, очень много... На кошме власти может сидеть

лишь не имеющий физических недостатков и крепкий мудростью предков – живое олицетворение Бездны. А когда удачливый соперник занимает еще теплое место – он добр, он сыт и милостив в сладкий час победы. К чему забирать жизнь у сброшенного владыки? Жизнь не нами дана, и не нам отнимать ее ради забавы. Ведь жить можно и без глаз, и без рук, и без языка – все можно, только править нельзя... И навеки безопасный калека отправляется в дальний горный замок, оставшийся от забытых народов и неведомый рядовым соплеменникам. Там новоприбывший будет вечно вкушать хмель пенящейся арзы и нежность женских объятий. Это справедливо. Это – закон степи.

Правда, по свидетельству старого безносого Хурчи Кангаа, помнящего прошлые луны и помнящего торги у башен Города – кстати, и нос-то потерявшего от купленной на торге любви, – законы давно утратили свою непререкаемость. Да и всеобщий хурал не собирался около... много лет не собирался всеобщий хурал, и пустует кошма собрания племен, и братья полюбили вкус родной крови, пряный, приторный вкус... Все меняется, и тщетно воют во тьму служители Красного взгляда в мохнатых высоких шапках...

Раньше, шамкает ворчливый дед Хурчи, дождь шел по слову шамана, и солнце послушно застревало в зените, и реки по-собачьи спешили навстречу наездникам племени, и Черный ветер дул по тому же слову... Врет, наверное, старый мул. Или не врёт. Какая разница?! Сейчас утро, а была ночь, и будет вечер, и ни к чему мужчине горевать об ушедшем. На одном коне не въехать дважды в одну и ту же реку – или конь к тому времени сдохнет, или река обмелеет, или племя откочует на другую стоянку. Хорошо сказано. Надо будет запомнить...

Кан-ипа легонько пнул пятками бока замедлившей ход лошади. Животное вяло покосилось на хозяина, гулко фыркнуло и решило не обращать внимания. Куда торопишься, табунщик? Налево – степь, направо – степь, и место для нового выпаса ты, считай, уже нашел. Давай лучше травы поедим, хорошая трава, хрустит на зубах, соком во все стороны брызжет... Не хочешь, глупый хозяин? Ну, не надо травы, вон темнеет что-то живое на полет стрелы от конского крупа – костер мигом охватит свежатину...

Тяжелый удар басалыка – витой плети с мешочком на конце, где хранился увесистый кусок свинца, – ожег взвившуюся лошадь. С ржанием, похожим на визг, она рванулась вперед, топча такую вкусную траву, – и Кан-ипа отпустил рукоять уже наполовину выдернутой из ножен сабли. Похоже, здесь и плеть-то не понадобится...

Человек стоял на четвереньках и глупо тарачился на несущегося к нему кентавра. Именно этот непонимающий взгляд и нелепая поза остановили табунщика, вселив уверенность в полной беспомощности человека. Люди не ходят на четвереньках. А звери не смотрят такими глазами. Эй, ты – ты кто? Или ты – что?..

Кан-ипа слез с лошади и приблизился к незнакомцу. Тот попытался было встать, но непослушные ноги подломились, и человек с размаху уселся на собственные пятки. Это было очень смешно. Люди на пятках не сидят. Люди на пятках ходят – когда лошадь удрала, – а сидят люди, поджав ноги и выпрямив спину.

Кан-ипа долго смеялся. Человек смотрел на табунщика, и запекшиеся губы его кривились неким подобием улыбки. Потом человек снова попытался встать, и на этот раз ему удалось удержаться на ногах. Он покачивался, хватая пальцами воздух и не отрывая взгляда от Кан-ипы; он пытался улыбаться, и лицо его выглядело в этот момент странно похожим на лицо табунщика, словно незнакомец примерял на себя маску чужого смеха...

Кан-ипа вытер рукавом вспотевший лоб и принял решение.

– Эй, безмозглый! – крикнул он, пряча плеть и хлопая ладонью по боку фыркающей лошади. – Садись в седло, в стойбище поедем, тебя показывать будем! Давай, давай, садись...

Человек заковылял к лошади, с недоумением поглядывая на табунщика, словно тот предлагал безмозглому бежать с конем наперегонки. Потом человек неуклюже подпрыгнул, судо-

рожно хватая коротко подстриженную гриву, и животом навалился на круп. Конь испуганно вздыбился, и человек сполз в траву, забавно копошась в гибких стеблях.

Кан-ипа чуть не лопнул со смеху. Чуть отдышавшись, он обхватил руками талию незнакомца – тот оказался на удивление увесистым – и, крикнув, посадил его на лошадь; после ловко прыгнул позади седла и прихватил поводья, удерживая все норовившего упасть человека.

– Поехали, безмозглый! – сказал Кан-ипа, разворачивая лошадь. – В гости поехали. Людей смешить будем. На коне ездить не умеешь – один палец смеха. Сидеть, как положено, не умеешь – второй палец. Стоять не умеешь и глаза дурацкие – третий и четвертый пальцы. Язык есть, а молчишь – пятый палец. Целая ладонь смеха. Поехали...

Кан-ипа решил, что он будет звать своего пленника Безмозглым. С большой буквы. Человек без мозгов – это очень смешно. Даже смешнее, чем человек без ног. Но у Стреноженного, у стойбищного раба-кузнеца, такие лапы, что и безо всяких ног свернет тебе шею за одно подобие ухмылки. Кузнецы сейчас в цене, вот и терпи... Лучше уж человек без мозгов. Смешно и безопасно.

– Въя-хаа! – завопил табунщик и понесся по степи.

Глава 2

*Трудно в мире подлунном
Брать быка за рога, —
Надо быть очень умным,
Чтоб сыграть дурака.*

Н. Глазков

Старейшина племени, вислоухий Гэсэр Дангаа, завтракал. Он подслеповато шурился сквозь пар котла на мясную наваристую шурпу, изредка запуская в горячую жижу сложенные щепотью пальцы, вылавливал приглянувшийся кусок и, внимательно рассмотрев добычу, бросал кусок мяса – чаще в рот, реже – обратно в котел. Каждый всплеск отвергнутой баранины привлекал к себе внимание третьей жены старейшины, недавно выигранной в альчик молодой Баарчи-Татай. Женщина сидела у откидного полога юрты, занятая шитьем, и с жадностью оборачивалась на булькающий котел. Ее опасения имели под собой веские основания – после заполнения объемистых животов Гэсэра и двух первых жен она имела шанс остаться голодной. И уж во всяком случае, цветущую круглолицую красавицу, каждое утро смазывающую щеки дорогим перепелиным жиром, – ну никак не интересовала изголодавшуюся Баарчи стайка голопузых малышей, с визгом и воплями пронесшаяся мимо юрты.

Старейшина с трудом оторвался от созерцания очередной порции еды.

– Женщина! – булькнул Гэсэр сквозь недожеванное мясо, и женщина привычно обернулась на звук. – Подними свой зад – да не отощает он веки! – и узнай у детей, зачем они бегут на Круг Собраний. И поживее, если не хочешь слизывать подгоревший жир со стенок котла!..

Баарчи-Татай как-то сразу, с первых дней своего поспешного замужества, перестала принимать близко к сердцу грубое обращение и неопасные угрозы мужа. Не торопясь, она встала и, потянувшись всем своим гибким телом нерожавшей дочери степей, высунулась за полог. Через некоторое время она задернула кошму и повернулась к ожидавшему Гэсэру.

Последние новости, слишком долго задерживающиеся за белоснежными зубками красавицы, привели сытого Гэсэра в дурное расположение духа, отнюдь не способствующее пищеварению, – и он нахмурился и придвинул поближе кривой посох.

– Дети говорят, – как раз вовремя открыла свой пунцовый ротик довольная жена, – табунщик Кан-ипа на Круг Собраний чужого дурака привез. В степи подобрал. Люди наелись, отоспались – теперь веселье у них. Смотреть идут. Хороший дурак, смешной. Только руками трогать Кан-ипа не дает. Мол, испортите мне дурака, что я тогда мудрому Гэсэру Дангаа показывать стану?! Вот придет Гэсэр – и дам дураку полную волю. Иди, Гэс, может, и вправду интересно...

Старейшина поцокал языком и, грузно встав, направился к выходу. Шагнув за полог, он на мгновение задержался и всем телом, по-волчьи, развернулся к жене.

– Пойдешь со мной? – И, не дожидаясь ответа, зашагал вперед, выпятив живот и держась подчеркнуто прямо.

– Как же, уже бегу, – проворчала Баарчи-Татай, задерживая кошму и проворно подкатываясь к остывающему котлу. – Что мне, дома дураков мало, чтоб за ними на Круг бегать?! Да и то сказать, дома – свои, а там – привозные...

На Кругу табунщик Кан-ипа показывал толпе соплеменников найденного им Безмозглого. Сегодня сюда сошлись в основном темноволосые юнцы, но кое-где мелькали седые космы

стариков из худородных и яркие тюрбаны любопытных женщин. Все улыбались и подталкивали друг друга.

Степной дурак ездил на лошади. Кан-ипа бережно подсаживал его в седло и пускал коня вокруг себя на отпущенном поводу. Толпа задерживала дыхание. На половине круга Безмозглый неизменно терял равновесие и покорно падал с животного, стараясь не очень больно удариться об утрамбованную землю. Толпа взрывалась визгом и криками восторга, и все повторялось заново.

Старейшина Гэсэр растолкал собравшихся и выбрался вперед. Безмозглый как раз сидел на земле, потирая ушибленное бедро. Губы его виновато кривились, и в глазах медленно остывало странное неприятное выражение, очень не понравившееся Гэсэру.

Такое выражение подобает тому, кто смеется, а не тому, над кем смеются.

– Ты кто такой? – спросил он, отдельно произнося слова и подкрепляя сказанное энергичными жестами.

Безмозглый промолчал и как-то необычно мотнул головой, словно отгоняя слепней: сначала в одну, а затем – в другую сторону. Потом он встал и зачем-то сунул старейшине под нос свою грязную правую руку. Гэсэр брезгливо взял ее за запястье, внимательно осмотрел все пять пальцев, словно оценивая их пригодность для шурпы, и немедленно отпустил.

– Это Безмозглый, – вмешался подскочивший к Гэсэру Кан-ипа. – Он слов не знает. Язык в ручье полоскал, все слова смыло. Всего три выучил. «Есть», «пить» и «падаю». Совсем глупый.

Гэсэр отстранил назойливого табунщика, забывшего приличия.

– Я – старейшина Гэсэр Дангаа, – снова повторил он. – А ты кто такой?

Безмозглый на миг задумался и ткнул себя кулаком в неприлично волосатую грудь, выглядывавшую из-под его дурацкого кунего халата.

– Я – старейшина, – неуверенно повторил он, выпячивая тощий живот и едва уловимо меняя осанку – словно длинный ловчий укрюк проглотил. – Дангаа...

Толпа ахнула. Безмозглый сделал шаг – важный, семенящий, неуклюжий от врожденной непомерной гордыни, – на лицо его сползла гримаса презрительного самодовольства; и оторопевшему Гэсэру вдруг померещилось, что стоит он перед чистой рекой и подмигивает ему из речной глади его же собственное отражение.

Безмозглый заискивающе осклабился, и все сразу встало на свои места. Вот толпа, вот – наглый табунщик, вот он, мудрый старейшина Гэсэр, а вот – чужой дурак из степи.

– Отдайте его подпаскам, – буркнул нахохлившийся Гэсэр. – Пусть мальчишкам помогает. Или убейте. Кормить не придется...

– Нет, – раздалось за его спиной.

Старейшина гневно обернулся и нос к носу столкнулся с обнаружившимся сзади Юрюнг Уоланом, избранным помощником Верхнего шамана Бездны. Ишь, ведун безрогий, тихо ходить стал, пора бы осадить зарвавшегося... Так ведь не уцепить теперь слизня засохшего – Верхний шаман совсем износился, не сегодня-завтра в Бездну уйдет, кто тогда на его место сядет колотушкой греметь?! Он и сядет, мохноногий Юрюнг, чтоб его предки съели...

– Зачем он тебе, Юрюнг? – примирительно спросил старейшина. – Добро б горожанин был, в жертву годный, мы б его Голодным глазам скормили, – а этот... Умный ты человек, Юрюнг, зачем тебе чужая дурость?!

Не ответив, Юрюнг Уолан поправил меховую шапку с костяной оторочкой и обратился к притихшим соплеменникам.

– Дети мои! – срывающимся голосом крикнул шаман. – Слушайте меня, слушайте одного из сыновей Бездны! Запрет на Безмозглом! Запрет на кровь его, запрет на мясо и кости его!..

Удивленное племя качнулось в сторону от непонимающе улыбавшегося дурака. Тот неловко поднял и опустил плечи, потер затылок и внимательно следил за воздевшим руки Юрюнгом.

– Раз в Лунный год воссядет Безмозглый на пегого отмеченного коня, и, увидя его посадку, да рассмеется Бездна Голодных глаз, возрадовавшись доблести и силе ее сыновей из племени пуран! Чтобы узнать свет дня, нужна тьма полночи, чтобы понять жару – нужен холод. Чтобы видней стала гордость свободных наездников степей – нужен Безмозглый, падающий со старой клячи, нужен человек, не умеющий ничего!.. Да будет так!

И шаман резко зашагал прочь, разводя людей перед собой рогулькой полированного сотней ладоней жезла.

Безмозглый пристально смотрел ему вслед, чуть сутулясь и поводя у груди сжатой в кулак рукой, – и черты его постепенно теряли чужое выражение.

Будто невидимая вода смывала с него лицо Юрюнг Уолана, избранного помощника Верхнего шамана Бездны. Это видел лишь замерший Кан-ипа, но он предпочел помалкивать.

Почему-то табунщик чувствовал, что он зря подобрал в степи смешного Безмозглого.

Сон

...В объективе моргнул чей-то глаз, щелкнул замок, и дверь отворилась.

– Привет.

– Привет.

– Знакомьтесь, мужики. Это Стас.

Я с опаской погрузил кончики пальцев в аморфную Стасову ладонь.

– Заходите. Все уже в сборе.

Все, которые были в сборе, усиленно расслаблялись. И занимались этим, похоже, не первый час.

Интимный бисквитно-кремовый фальцет колебал сизые струи «Честерфилда», на экране бесполое существо любило сопротивляющийся микрофон, и в такт его спазмам подрагивали на диване две полуодетые полудевушки. На ковре подле лежбища уютно устроился тощий парень, время от времени ищущий компромисс между шампанским и коньяком. Остальные прочно утонули в сумраке углов и были вялы и неконкретны.

Я поискал бокал, свободный от окурков, потом поискал окурков, свободный от губной помады; позже, уяснив всю тщету своего наивного поведения, подсел к тощему, отпивавшему в данный момент из двух бутылок одновременно, тем самым решив мучительную проблему выбора, – и попросил закурить.

– Рано еще, – как-то неопределенно отозвался собутыльник. – Не успел в дверь влезть, и сразу...

Я осторожно извинился, вызвав у дам приступ болезненного веселья, и отвалил в кресло. Весь комизм положения заключался в том, что мне лень было уходить. Это ж надо сначала встать, потом прощаться и одеваться, тащиться на остановку, ждать трамвая, ехать... Весь процесс вызывал уныние ничуть не меньшее, чем уныние окружающего веселья.

Я откинулся на спинку кресла и полуприкрыл глаза. В голове по-прежнему гудела вчерашняя репетиция. Собственно, гудело лишь то, что было до и после сорванной «генералки», и, уж поверьте, сорванной как положено, с воплями, помидорами и истерикой растерзанной Джульетты! – а саму репетицию, весь ее первый проклятый акт, я и не помнил-то как следует... Это уже после в курилке помреж рассказывал, как в середине акта я полчаса по сцене за Тибальдом гонялся, а Ромео мне все руку выкручивал, пока я ему эфесом по морде не въехал и не заорал: «Чума на оба ваших дома!...»

Бедный Ян – это который Тибальд, по вечернему распределению, – он же твердо знал, что Тибальду положено непременно заколоть подлеца Меркуцио с санкции всемирно известного классика Вильяма, под вступающие фанфары и изменение мизансцены с фронтальной на диагональную... Я так и вижу – идет Тибальд, рапирой в краске машет, а я сползаю у левого портала и посмертный монолог выдаю. Вот, значит, и выдал! Это Ян классика читал, и я читал, и режиссер сто раз читал – а Меркуцио мой не читал, и никак не собирался помирить от дешевого бретера. Хочешь заколоть – учись оружие за нужный конец брать, а не умеешь – иди кормилицу Джульеттину играй... Так что бегал Тибальд под мой импровизированный пятистопный ямб, а режиссер Брукнер только лысину в зале платком промокал – а после подполз, сволочь очкастая, и тихо так: «Слышь, Алик, я тебя во второй состав пока переброшу, ты отдохни, выступи, а там будем смотреть...»

Я вспомнил легенду о мальчишке из театра Кабуки, вошедшем в образ и голыми руками угробившем на сцене пятерых собратьев по ремеслу – игравших всяких там древнеяпонских негодяев. Куда его потом перевели? Ах да, в куродо... Куродо – это служитель сцены такой, свечи зажигает, грим поправляет, сам весь в черном балахоне – и зритель его в упор не заме-

чает. Правильно, пойду в куродо, там мне и место. Уж на что стихами никогда не баловался, да и то так достали вчера...

Я вынул из кармана смятый тетрадный лист и разгладил его на колене. Потом пробежал глазами написанное.

От пьесы огрызок куцего
Достаточно нам для печали,
Когда убивают Меркуцио —
То все еще только в начале.
Неведомы замыслы гения,
Ни взгляды, ни мысли, ни вкус его —
Как долго еще до трагедии,
Когда убивают Меркуцио.
Нам много на головы свалится,
Уйдем с потрясенными лицами...
А первая смерть забывается
И тихо стоит за кулисами.

Граненый бокал придавил руку к журнальному столику, на колени уселась любопытствующая девочка Алиса, подозрительно тяжелая и невинная; в дверях всплыл очкастый кот Базилио, машущий упаковкой зеленых пилюль — и я уже был готов тратить свои золотые в Стране Дураков.

Подражаться, что ли, встряхнуться в свалке и удрать...

— Встряхнуться хотите?

— Хочу.

— И что же вам мешает?..

— А ничего! — легкомысленно заявил я, не оборачиваясь к назойливому собеседнику. — Сейчас вот «колесо» хлопну, коньячком запью и с Алиской на диван завалимся. Чем не Эдем?!

Совсем рядом зависли узкие глаза с вертикальными кошачьими зрачками, мелькнул рукав грязно-пятнистой хламиды... Ну вот, как мне — так рано еще, а как обкуренному жрецу-любителю с несатым взглядом — так в самый раз. Везет мне на параноиков. Сейчас вот встану и...

— Не встанете. Это ж надо прощаться, тащиться на трамвай, ждать его опять же... А вам глобального подавай, никак не меньше. Классику там, весь мир — театр, стихи непризнанные... Хотите, допишу?

Он склонился над моим коленом и быстро зашелестел шариковой ручкой. Я наклонил голову. Внизу обнаружилась новая строфа, дописанная витиеватым почерком с левым наклоном.

У черного входа на улице
Судачат о жизни и бабах
Убитый Тибальдом Меркуцио
С убитым Ромео Тибальдом.

Почему-то это оказалось последней каплей. Я судорожно вцепился в пятнистый рукав, как в детстве хватался за теплую мамину ладонь.

— Встряхнуться хотите?

— Хочу.

— Действительно? И не страшно?..

Черт меня дернул за язык сказать «хочу» в третий раз...
Гул затих.
Я вышел на подмости...

Глава 3

*Что знал я в ту пору о боге,
На тихой заре бытия?..
Я вылепил руки и ноги,
И голову вылепил я.*

А. Галич

Безмозглый сидел на пологом берегу узкой пенящейся речушки и пристально следил за купающимися подростками. Юные пастухи скакали в брызжущей радуге, вскрикивали от жгучих прикосновений ледяной воды и звонко шлепали себя по глянцевым ляжкам. Именно ноги их, гладкие юношеские ноги, не успевшие затвердеть синими узлами вспухающих мышц, и привлекли к себе внимание Безмозглого. Нет, отнюдь не тайная страсть к существам одного с собой пола – хотя нравы табунщиков, на дальних перегонах до полугода обходящихся без женщин, отличались предельной простотой – мучила его; просто он искал ответ на неотвязный вопрос, уже пятый день неотлучно таскавшийся за ним. Дело в том, что ноги зрелых мужчин племени – практически всех мужчин! – были покрыты рубцами самых разных форм и размеров; и полная несхожесть шрамов не позволяла списать их на ритуальную татуировку. Здесь было нечто иное, нечто...

Сидящий на берегу человек настолько погрузился в тайные думы, что даже не обратил внимания на хруст травы за спиной, и лишь крепкий дружеский шлепок по загривку выдернул его из липкой трясины размышлений.

– Мальчика себе высматриваешь, Безмозглый?! – раскатисто захохотал подошедший Кан-ипа, плюхаясь рядом на размокшую глину. – Хочешь, овцу подарю?! Хорошая овца, жирная, смиренная – и браслетов не клянит, не то что эти... Ты для нее самый лучший баран будешь! И не овдовеет никогда – из тебя шурпа постная выйдет. А то давай в набег рванем?! Жену тебе красть надо? Вот и утащим – может, и мне чего обломится... Ну так как? Коней седлать – или за овцой идти?!

Безмозглый глядел на веселого табунщика, сосредоточенно морща лоб. Он уже достаточно понимал чужой язык, у него оказалась на удивление цепкая память, но не всегда еще удавалось сразу замечать переход от серьезного разговора к насмешке.

Чужой язык... А какой язык – свой? Неужели те несколько слов, самопроизвольно вырывавшихся у него под недоуменные перешептывания соплеменников, – это свой язык?! Иногда ему казалось, что он знает много слов, очень много, и все они разные – один и тот же закат он способен раскрасить этими словами во множество сверкающих огней... Но солнце садилось, сползала тьма, и он возвращался в привычное косноязычие.

– Скажи, Кан... – Безмозглый помолчал, отчего-то стесняясь своего вопроса. – Скажи, почему у подпасков ноги гладкие, у женщин ноги гладкие, а у тебя в рубцах? И у воинов охраны тоже... И у старейшин.

Кан-ипа недоумевающе выпрямился, словно Безмозглый спрашивал у него нечто давно известное всем, – и резкий свист перекрыл гомон купающихся юнцов.

– Айяяя! Бэлыгэн, брат мой, беги сюда! Веди двух трехлеток! Безмозглый хороший вопрос задает! Совсем умный стал... Айяяя, скорее!..

Бэлыгэн-ирчи, смуглый коренастый крепыш лет двенадцати, вылетел из воды, и через мгновение он уже мчался, вскидывая задубевшие босые пятки, к пасущемуся неподалеку косяку – легко вертя в правой руке ловчий укрюк с овальной петлей на конце.

В ожидании младшего брата Кан-ипа нетерпеливо подпрыгивал на месте, потом не выдержал и кинулся к прибрежному кустарнику, срезая кривым ножом два побега – в полтора пальца толщиной и длиной в два мужских локтя. После он взлетел на неоседланного жеребца, подогнанного уже конным Бэлыгэном, и перекинул парню прут потоньше.

Импульсивный Бэлыгэн рванул за концы веревки, вставленной коню в рот в виде импровизированной уздечки, и из-за вздыбившегося конского крупа попытался достать концом прута плечо брата. Но Кан-ипы уже не было в седле; и хлесткий удар зря рассек воздух. Собственно, и седла-то не было – но совершенно непонятным для Безмозглого маневром табунщик ухитрился проскочить под брюхом животного, и, выныривая с ближней к Бэлыгэну стороны, он полоснул подростка по напрягшимся голеням.

Парень взвыл не столько от боли, сколько от обиды и вспрыгнул на спину своей лошади. Пританцовывая на неверной скользкой опоре, чудом удерживая невозможный баланс, он принялся рубить прутком увертливого брата. Один раз ему удалось достать левое запястье Кан-ипы, еще раз прут чиркнул по разметающейся копне волос табунщика, но в большинстве случаев ветка свистела в пустоте.

Трудно было разобрать, где кончается бешеный гнедой трехлеток и где начинается бешеный оскаленный табунщик, – и Безмозглый понял тайну рубцов на ногах мужчин племени. Оружие почти ни разу не дотягивалось до головы или туловища наездника – но ноги и руки их зачастую оказывались открытыми для удара; разве что боец спрыгивал с лошади на землю, придерживаясь за холку и укрываясь за животным, но тогда он лишал себя возможности мгновенно контратаковать.

Безмозглый подумал, что он как-то не так представлял себе конный бой – и сразу же осекся. Видел ли он когда-нибудь иной бой? Какой? Участвовал ли в нем? Знание не возвращалось. Он прикрыл глаза и неожиданно увидел самого себя: освещенного пятью желтыми солнышками – два больших справа и три маленьких слева, – облитого черной гладкой шкурой, с раскрашенным лицом; увидел у себя в руке странный узкий клинок, тоньше бэлыгэновского прута, рукоять которого обвивали разные металлические изгибы, подобно тусклым змеям вокруг широкой чаши... Неправильное оружие, неправильный свет, неправильный он сам. Худой и черный. А такой меч и из руки в руку-то не перебросишь – обязательно за изгибы зацепишься. А рубить? Как им рубить?! И опять же конь... Где конь? Почему его нет? Так не бывает. Это – сон.

В последнее время Безмозглу часто снились сны. В них он был иным, уверенным, носил разные одежды, говорил разные слова, красивые и понятные, во сне он играл – и не так, как играют дети, а по-другому, по-взрослому; он ИГРАЛ... но сон таял, пальцы тщетно пытались удержать зыбкое марево, и вокруг вновь проявлялся правильный мир – кислое молоко, запах шкур, скрип повозок и он – Безмозглый из степи, с его дурацкими видениями.

Кто? – и за что?!

Запыхавшийся Бэлыгэн отогнал жеребцов обратно в косяк и, почесывая вспухшие ноги, присоединился к купающимся. Кан-ипа, вспотевший и довольный, присел рядом с неподвижным Безмозглым, потирая лоб измочаленным кончиком прута.

– Ну как? – весело спросил он. – Понял?

– Понял, – ответил Безмозглый. – Голова далеко, а ноги – рядом. Ноги чаще сверху, а голова легкая – то туда, то сюда. Понял.

– Молодец! – восхитился табунщик. – Правильно понял. А ты на лошади сидишь, как старейшина на молодой жене, у тебя ноги целые будут. Тебе голову отрубят. Сразу. А без головы плохо, ой-бой, как плохо!.. Видеть нельзя – один палец. Слышать нечем – второй палец. Есть нельзя и думать не получается – третий и четвертый пальцы. Шапку надеть – и то не на что. Целый кулак неприятностей. Вот.

Кан-ипа плотно зажмурился и заткнул уши, очевидно, пытаясь представить себе все неприятности, связанные с потерей головы. Потом расслабился и сочувственно подытожил:

– Да. Совсем плохо.

Они помолчали.

– Пошли с нами ночной выпас сидеть, – неожиданно предложил табунщик. – Арзы выпьем, костер разложим... Ты песни петь станешь. У тебя хорошие песни, короткие, но вкусные. Ухо твою песню съест – и радуется. И в животе тепло. А у меня все песни длинные, а допеть до конца никогда не дают. Ругаются. Драться лезут. Шапку в рот суют... Ты где песни нашел – во сне, да?!

– Нет, – сказал Безмозглый. – Не знаю. И в ночное не пойду. Наверное.

– Почему? – подскочил Кан-ипа. – Ленивый стал, да?!

– Нет, – покачал головой Безмозглый. – Просто... Я боюсь.

– Чего боишься? Волков? Я тебе саблю дам. Свою. А мне плетки хватит. Треснешь волка басалыком по башке – и шкура целая, и волк тихий. Пошли, а?..

– Волков не боюсь, – сказал Безмозглый. – Другого боюсь.

– Чего?

Безмозглому мучительно не хватало слов объяснить свой страх – но он все же попробовал.

– Понимаешь, Кан... вот ночь, так? Вот костер, светло... Тут светло, а там, в ночи, – что? Что за светом? Ночь там, шорохи... ходит кто-то. Кто ходит, чего хочет? Вдруг к костру выйти хочет? Может, зверь, может, человек, а может, – дух... Страшно.

– Дух? – Глаза Кан-ипы удивленно расширились. – Кто такой? Почему страшно? Ты слово сам придумал? Живой – дух?

Безмозглый и сам плохо понимал, кто такой дух. Так, вырвалось само... и слово-то противное – ду-у-у-ух... Как ветер в темных зарослях.

– Нет, Кан. Не живой.

– Тогда какой? Мертвый?

– Тоже нет. Не живой – и не мертвый. Никакой, неизвестный. И сравнить не с чем. Понимаешь? Дух.

Кан-ипа сгорбился и некоторое время сидел молча. Взгляд его медленно наливался мраком грядущей ночи.

– Понимаю, – наконец протянул он. – Да. Когда живой – можно убить, и не страшно. Когда мертвый – тогда совсемдохлый, и тоже не страшно. А когда не мертвый и не живой... Или мертвый, но живой... Никакой. Да. Очень страшно. Очень-очень страшно. И сравнить не с чем... Слушай, Безмозглый, пошли с нами в ночное! Я тебе саблю дам. И себе возьму. Две сабли. А мальчишки пусть ножи берут. А ты петь будешь – духа отгонять будешь!.. Пусть не приходит к костру. Я тебе саблю насовсем подарю, я тебя очень прошу – пошли в ночное!..

– Ладно, – сказал Безмозглый. – Не кричи. Пойду. И петь стану.

Он встал и направился вдоль берега.

Когда фигура идущего скрылась из виду, к обмякшему табунщику подскочил сгорающий от любопытства Бэльгэн-ирчи.

– Ну что? Что сказал дурак? Пойдет ночной выпас сидеть?!

Кан-ипа вскочил и закатил брату увесистую оплеуху.

– Сам ты дурак! Конечно, пойдет! И песни петь будет. Духа отгонять надо. Страшного...

– Духа? – обиженно скривился Бэльгэн. – Какого еще духа? И зачем его гонять?

– Затем, что страшно, – буркнул Кан-ипа. – Очень. Не живой – и не мертвый. Никакой. И сравнить не с чем.

Бэльгэн-ирчи притих и поежился.

– Так не бывает, – протянул он, но глаза подростка уже испуганно забегали по сторонам. – Никто такого не говорил...

– Значит, бывает. И мертвый, и живой, и... всякий. Бывает. А сам большой...

Табунщик пожалел, что Безмозглый оказался сегодня таким неразговорчивым, и попытался самостоятельно дорисовать, договорить неведомый, впервые открывшийся ему ужас.

– Большой и... И с рогами, как у буйвола. И хвостатый. А морда жирная, как у старейшины Гэсэра, только синяя. Вся синяя. К костру хочет, есть хочет – а песня его не пускает. Понял?

– Понял, – оторопело кивнул Бэлыгэн и помчался к сверстникам.

Кан-ипа еще немножко посидел, размышляя, потом поднялся и тяжело двинулся за Безмозглым. Дойдя до излучины, он обернулся.

Бэлыгэн-ирчи с жаром рассказывал что-то собравшимся вокруг него подросткам. Лица мальчишек были бледными. Бэлыгэн размахивал руками, корчил жуткие рожи и прикладывал растопыренные пальцы то к затылку, то к зубам.

Один из подростков заплакал.

Глава 4

*О, знал бы я, что так бывает,
Когда решался на дебют,
Что строчки с кровью – убивают,
Нахлынут горлом и убьют.*

Б. Пастернак

«...прикрыли глаза; и яростный шум заполнил побледневшие коридоры – крики людей, бешеное рычание, лязг мечей, топот ног, чье-то оборвавшееся хрипение...

Они видели – видели глазами, горящими углями волка, прыгающего на грудь человека с мечом; глазами летучей мыши с распахнутой кожей крыльев, впивающейся в искаженное лицо; глазами сотен крыс, лавиной карабкающихся на дверь, грызущих неподатливое дерево – сорвать, смести, уничтожить ненавистный Знак! Не жалким полоскам остановить серый потоп, и Тяжкий блеск разит волка слабее обычной стали...

Четверо обезумевших воинов, прижавшись спиной к спине, захлебывались в нахлынувшей волчьей стае; по трупам, лежащим на земле, катились десятки, сотни, легионы визжащих крыс, взбегая по доспехам, подбираясь к горлу, разрывая крыло нетопыря вместе с человеческой плотью; и дерево Знака таяло на глазах!

Дверь распахнулась, и женщина с белым лицом приблизилась к задыхающемуся раненому.

– Не бойся, – сказала она, наклоняясь над воином и отрешенно глядя на умирающего человека. – Это не больно и, говорят, даже приятно...

– Хватит на сегодня, – сказал Безмозглый, выдержав длинную томительную паузу. – Достаточно. Спать пора.

Темнота, глядевшая на него десятками глаз, недовольно зашевелилась и вздохнула. Они слушали его: каждый вечер они собирались у костра на обочине стойбища, молодые и старые, доверчивые и настороженные – всякие; они послушно растворялись в ночном мраке, обступавшем одинокий костер и сосредоточенное лицо Безмозглого, выхваченное пламенем. Они молчали и молча ненасытно требовали все новых слов о неизвестном. Никогда не задумываясь ранее о ночи, стоящей за робким дрожащим кругом человеческого света, – почему «никогда»?! Гулкая пустота проглатывала вопрос, и лишь круги по чернильной воде... – они открывали для себя новый мир, темный мир за гранью. И гордые мужчины с сабельными шрамами забывали обращать внимание на вздохи и приглушенное женское аханье за спиной. Пусть стоят – ведь мужа, пытаясь дома пересказать услышанное, терпели позорное поражение и лишь хмурились в досаде...

Они не умели рассказывать. Никто не умел! – и поэтому не было слушателей благодарнее людей из племени пуран. Впервые ставших теми, кто слушает и смотрит.

Безмозглый умел рассказывать. Это странное умение жило в нем, хмелем бродило в крови, прорывалось в мимике, жестах, и одним капризным изломом тонкой руки он мог исторгнуть из жадного, ждущего мрака вопль ужаса или шепот умиления. Слова сами возникали из небытия, из хаоса; слова толкались, слова кричали, слова требовали – выпусти! Выпусти нас, человек! Одень нас движением, укрась нас жестом, оттени паузой – и вокруг тебя встанет мир, который создал Ты! Черты Безмозглого плавилась изменениями тысяч выражений, голос послушно переходил от гневного хрипа к вкрадчивому шелесту, он создавал миры и людей по образу и подобию своему, легко меняя кожу и суть...

Он не знал истоков своего умения, он не искал этих истоков, жизнь его приобретала смысл или иллюзию смысла – и он попросту боялся докапываться до корней.

Безмозглу доводилось видеть людей-пуран, пристрастившихся к желтой пылице редко встречающихся волокнистых грибов, растущих в тени холмов. Эти люди были больны – больны грезами, больны эфемерным счастьем, больны радужным путем к мучительной смерти.

Он был болен словами. Словами, ситуациями, фантазией, ритмом крохотного барабаника, подаренного старым Хурчи, огнем костра, от которого он никогда не шурился, болен жадно вслушивавшейся темнотой; он не знал, как оно называется, как называется это все вместе, он болел им – и не хотел выздоравливать!

– Скажи, Безмо, – спрашивал его иногда Кан-ипа, тенью ходивший следом и сокративший оскорбительное прозвище до непонятно-уважительного «Безмо». – Почему ты знаешь, а я – нет? Почему твои слова горят в моей голове, но едва я оближу их своим глупым языком – они трещат и гаснут?! Почему, Безмо?!

Безмозглый молчал. Прости, Кан... Безмо так Безмо, не хуже и не лучше любого другого имени, и так похоже на заманчиво-таинственное: «Бездна-а-а-а!...» Прости, Кан, я не знаю ответа. Хочешь, я расскажу тебе дальше? Ну, тогда слушай...

И они слушали. Слушали и смотрели. И он старался не думать, почему он – первый? Старался не думать – и не мог думать ни о чем другом. Всегда. Все время.

– Ладно, – сказал Безмозглый. – Еще немного. И спать.

Он опустил веки и увидел Слова. Мышцы его непроизвольно напряглись, и дыхание стало ровным и длинным.

Темнота смотрела на него пристальным взглядом, но глаз, жаждущих и требующих глаз, было еще слишком мало – мало для чего? Он входил в образ, как входят в незапертую дверь – легко и без усилий; и он ждал, когда глаз во мраке станет достаточно для некоей смутной цели.

Иногда ему казалось, что он ждет не один.

– Еще немного, – сказал Безмозглый. Он облизал губы, чувствуя терпкий вкус новорожденных слов.

– Еще немного. – И жадная темнота послушно потянулась ему навстречу...

...Темнота послушно потянулась ему навстречу. Но на этот раз он молчал. Не для слов вывели его сегодня в Круг Собраний.

Лунный день. Он запрокинул голову к сияющему полному диску, и дурманящая желтая пылица коснулась его век и осыпала бледное лицо. Лунный день. Сегодня он восседает на пегого отмеченного коня – и да рассмеется Бездна, и веселые наездники племени пуран, рождающиеся в седле!..

Много глаз смотрело на него из тьмы, очень много, никогда столько не было – и это обожгло его новым, не изведанным до сих пор восторгом. Безмозглый мельком отметил несколько взглядов: расслабленно-презрительный – старейшина Гэсэр, жирная лиса; холодный и спокойный – кипящий лед страстей, Юрюнг Уолан, избранный помощник; внимательно-заинтересованный – кто этот горбящийся старик на кошме? А, это приглашенный, Верхний шаман, служитель Бездны, давно уже не выезжающий из своих урочищ ни на какие празднества... Странное лицо – без выражения, без возраста, и глаз бесцельно скользит мимо...

И еще один взгляд отметил Безмозглый – голодный, текущий, плавающий в обручах вертикальных зрачков. Откуда здесь взялся человек в буро-пятнистой хламиде?.. Гость? Откуда – гость с глазами хозяина?..

Безмозглый подумал, что никогда не встречал пятнистого в стойбище, и задержал на нем свое внимание дольше остальных. Нет, не видел. Кажется, не видел.

Кажется...

Он повернулся и шагнул вперед – к грызущему удила коню.

...Чего-то не хватало вокруг, незавершенность происходящего мучила тебя, и древнее, неизвестно откуда взявшееся знание властно вступило в свои права.

– Свет! – кричишь ты, и толпа послушно поворачивает к тебе белые овалы лиц. – Дайте свет, левую рампу и два нижних выноса. Быстро!.. – И вспыхивают коптящие факелы, факелы воинов охраны, и заготовленный с утра костер трещит, выплевывая искры.

– Звук! – Ты выбрасываешь руку по направлению к сидящим на корточках старикам, звонко щелкаешь пальцами, и тебе отвечает мерный рокот упругой кожи барабанов. – Входите постепенно и – на максимум! Громче, говорю!..

– Занавес! – И ты не успеваешь осознать чужой смысл последней команды, потому что ты видишь прорвавшегося в первые ряды преданного Кан-ипу, вспотевшего и от волнения забывшего все приличия.

Цепкость концентрированного восприятия опутала табунщика липкой паутиной, высасывая незамеченные ранее детали, воспроизводя мельчайшие нюансы состояния, – и, не успев понять происходящее, ты вошел в это состояние.

Вошел в образ.

Как нож в подогнанные ножны.

* * *

Как ходит веселый табунщик Кан-ипа? Да, кажется, так... плавный пережат с пятки на носок, голени слегка напряжены, и ноги поэтому всегда полусогнуты, кривые ноги, изрубленные ноги конного бойца... с пятки на носок, звериная, обманчиво неуклюжая поступь и – прямая спина! Обязательно прямая спина!

Как смотрит улыбчивый табунщик Кан-ипа? Сквозь узкие щели-бойницы, косо прорезанные в скуластой маске; и морщинки бегут от уголков, как вольный табун по степи...

Что думает Кан-ипа? Хороший конь, хороший, доброй масти; бабки тонкие, ссадины под коленом, засекается, значит, на галопе; а кован недавно, хорошо кован, грамотно... хороший зверь, ну, ну, не фыркай, хороший...

Как садится на коня рожденный в седле Кан-ипа?

Как!

Занавес.

Ваш выход.

* * *

Безмозглый чуть присел на широко расставленных ногах и, легко оттолкнувшись, прыгнул в седло, едва коснувшись ладонью конской холки. Потом он подобрал поводья, сдерживая заплясавшего нервного коня, и медленно послал животное вперед по кругу. Пегий жеребец грыз мундштук уздечки, недоверчиво косясь на всадника, пытался ударить задом, но – шел. Он шел, и гремели барабаны, и был свет, такой, как надо, и спина Безмозглого была прямой; и конь прошел по кругу, пегий отмеченный конь, и бремя седока наконец слетело с его спины.

...Люди расходились молча. Маленький Бэлыгэн-ирчи протолкался к своему приятелю, идущему рядом с отцом.

– Ему помогают его духи! – горячо зашептал Бэлыгэн. – Он рассказал нам о них, он открыл нам тайну, и духи дали ему слова, силу и власть! Так говорит мой брат, а Кан-ипа никогда не говорит лишнего. Это он нашел Безмо в степи...

Приятель боязливо поднял голову и посмотрел на отца.

– Ты высказал мысли наших сердец, Бэлыгэн, – веско произнес отец, высокий мужчина с гривой выющихся, начавших сесть волос. – Безмо не простой человек. Да.

– Если он вообще человек, – вмешался идущий впереди коротышка в синем ободранном халате. В голосе его звучали уважение и страх.

– А кто? – осмелился вступить в разговор забытый подросток. – И откуда?

Коротышка торжественно указал в ночь, стоящую за границей зыбкого света костров, – указал вдаль и чуть-чуть вверх.

Отец подростка согласно кивнул.

Расходились молча. Зато дома они говорили и никак не могли наговориться.

Доволен был престарелый шаман Бездны, приказавший надменному Юрюнгу Уолану через шесть лун привезти к нему того, кто был найден в степи; того, кто умеет показывать неизвестное.

Люди племени пуран тоже были довольны. И удивлены.

И был доволен пятнистый обладатель голодного кошачьего взгляда, шагнувший за черту света и легко растворившийся во мраке.

Сон

– ...Нет, не согласен, – сказал я.

Мом в задумчивости прошелся по комнате, потирая запястье левой руки, украшенное хитрой татуировкой в виде четырехколычатой змеи.

– Станный вы человек, – сказал Мом. – Непоследовательный. Я как-то читал в одной вашей священной книге... Или не вашей?! Впрочем, неважно – в ней тот, кто сидит наверху, среди прочих обещаний своим последователям сказал и такое: «Я обещаю вам сады». Здорово сказано – просто сады, сады без каких бы то ни было отличительных признаков... Будит фантазию. И дает каждому возможность в меру его способностей представить идеал. Но как ни крути, сады есть только сады – а сколько людей за эту перспективу резало собратьям глотки в течение столетий?!

А я предлагаю вам мир! Мир – сцену, мир – театр, и единственное, что от вас потребуется, – играть! Играть для сердца, для основ, играть – во имя... Хотите сыграть жизнь?

– Нет, не хочу, – сказал я. – Можно я пойду?..

Мом резко остановился у моего кресла.

– У вас дар, – он пристально смотрел на меня, но не в глаза, а рядом и немного мимо; и это раздражало. – Вы великий актер. И именно поэтому вы – никудышный актер. Вас нельзя выпускать на подмостки – ваш Гамлет в упоении перебьет больше народу, чем задумано Шекспиром, а ваш Отелло всерьез придушит актрису, играющую Дездемону. Вам нельзя играть понарошку, вы слишком растворяетесь в образе – а не играть вы уже не можете. Я предлагаю вам мир, где вы можете играть. Всегда. Везде. Вечно.

– Почему – вечно? – спросил я. – А если я, не дай бог, помру? Или вы собираетесь из Вечного Жида сделать, так сказать, Вечного Актера...

– Почти, – ответил Мом. – Если вы умрете, играя – надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю? – играя всерьез, в полную душу, то я гарантирую вам выход на аплодисменты и участие в следующем акте. Но только при условии игры с полной отдачей! Как это у классиков...

Он зажмурился и произнес нараспев:

Сколько нужно отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река,
Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа
Иногда суждено...

Потом подумал и добавил, пожимая плечами:

– Именно так. В противном случае – сами понимаете...

До чего же образованный попался мне собеседник!.. Я смотрел на его сухощавую фигуру, тонущую в пятнистой длинной хламиде, и мне казалось, что тело Мома – словно одежда с чужого плеча. Будто богатыря, гиганта в спешке засунули в другой футляр, и мощь прошлого прорывается в несвойственных настоящему мелочах... Мне припомнилось начало нашего затянувшегося разговора.

– Как мне называть вас? – спросил я его тогда.

Он сощурился.

– Мом, – ответил Мом. – Да... пусть будет Мом. Вы не возражаете?

Я не возражал. Мом так Мом. Что-то ассоциировалось у меня с этим именем, божок какой-то мелкий... греческий? Или финикийский? Не помню. И эпитет, связанный с ним, – «Правдивый ложью»... Хитро закручено. Умели предки, однако, в смысле парадоксов...

– ...Зачем это нужно вам? – прервал я подзатынувшуюся паузу.

– Я – зритель. – Мом как-то очень неприятно осклабился, и «я – зритель» прозвучало как «мы – зритель». – Я – великий зритель. И хочу великого театра. Только не надо сразу подбирать аналоги – я не господь и тем более не сатана. И не сумасшедший. Хотя... Вы не задумывались, до чего же театр походит на религиозные обряды! Собственно, он из них возник... Греческие празднества, христианские мистерии, ранние пьесы. Но... Вера – и театр. Но там вера в то, что добрый дядя с бородой – это всемогущий боженька, а злой дядя с рогами – проклятый нечистик; тут же – вера в то, что толстая кокотка – Офелия, а пыльный задник – эльсинорский дворец. Одинаково неважно, что служитель веры может быть бабником, а служитель муз – пьяницей! Верую, ибо это нелепо. Мы хотим поверить – и верим.

Вы мне нужны для веры. В предлагаемом вам мире ее не возникло. Условия не те. Я вообще полагаю, что религия и театр уникальны и встречаются крайне редко. В большом масштабе, разумеется. Для веры нужно сверхъестественное, а там... Там слишком много людей умели сверхъестественным управлять. Изначально.

– Как – управлять? – несколько оторопело спросил я.

– Как? – Мом снова помолчал. – Да так же, как и везде... Словами. Понимаете, Слово имело там первоначальную власть... Но обладающего такими способностями, мастера, – его можно уважать, можно купить, можно бояться или использовать, но в него нельзя верить. Слишком уж он привычен, повседневен. И когда ночь заглядывает в круг твоего костра – ты не боишься, потому что придет он, придет мастер, и все будет хорошо. Не боишься – значит, не веришь. Ни во что. У людей, знаете ли, вообще странная психология... А уберите возможность управлять Стихиями и сверхъестественным – убейте, к примеру, всех мастеров или измените законы их мира – и вы получите гниющую среду, созревшую для веры. Или для театра.

– Заманчиво, – сказал я. – Целый мир, созревший для неба, и я – за режиссерским столиком. Диктующий статистам первое распределение ролей. Вдвойне заманчиво для актера, умеющего входить в чужое состояние, чужой образ; и получающего бесконечность образов и состояний. Заманчиво, но увы... Не хочу.

Лицо Мома внезапно надвинулось на меня, распахивая занавес безволосых век, – и мне показалось, что мой собеседник – театральный бинокль, сквозь который меня рассматривает безликая и бесформенная масса; глядит кипящая, нетерпеливо ждущая Бездна, заполнившая собой темный зрительный зал и подмигивающая мне голодными смеющимися глазами из всех лож, ярусов и кресел галерки.

– Экий вы, однако... Как же вы не понимаете, что вашего мнения как раз никто и не спрашивает. И потом...

«И будет это долгое – Потом, в котором я успею позабыть, что выпало мне – быть или не быть? Героем – или попросту шутом?..»

Глава 5

*Когда же прошел этот длинный
День страхов, надежд и скорбей,
Мой бог, сотворенный из глины,
Сказал мне:
«Иди и убей!»*

А. Галич

Одиноким всадник несся по одуревшей от полуденного зноя степи, белый растрепанный хвост мотался из стороны в сторону, привязанный под наконечником его короткого копья с красным древком; лицо под высоким чешуйчатым шлемом окаменело в безразличии ко всему, кроме бьющейся под копытами земли; и бурая пыль степей, зловещая пыль дурного вестника, некоторое время еще гналась за распластанным конем и, не догнав, покорно опускалась, оседала, растворялась в потревоженном покое...

Кан-ипа проводил гонца долгим обеспокоенным взглядом и повернулся к Безмозглому, который понуро сидел у разложенной походной скатерти, лениво покусывая перышко дикого лука.

– Беда, Безмо, – угрюмо сказал табунщик. – Большая беда. Дальние племена, урпы и руххи, выпустили пастись Белую кобылу. Дед Хурчи говорил, что в последний раз кобылу пускали перед Четвертой волной на Город. Хорошие травы выросли потом на жирной крови убитых, и степные стервятники добрым словом поминают всеобщий хурал, где вождем степей был избран неистовый сын старейшины Кошой. Он бросил степь на Город – и разбился о стены. Большая беда идет, и большая честь для гордых.

Безмозглый не шелохнулся.

– При чем здесь кобыла? – спросил он.

Кан-ипа с недавних пор пребывал в убеждении, что его великий друг Безмо знает все на свете, а если иногда и задает вопросы, то лишь для того, чтобы под глупую болтовню табунщика обдумать нечто свое, недоступное прочим.

Наивная эта уверенность, равно как и переходящая все границы преданность, – все это доставляло Безмозглому массу хлопот, но он ничего не мог поделать с упрямым Кан-ипой, неотлучно следовавшим за Безмозглым и настороженно косившимся по сторонам.

– Кобыла нужна обязательно. – Кан-ипа тяжело опустился у скатерти и выдвинул саблю из простых черных ножен, ногтем пробуя заточку. – Она идет пастись, а за ней идут лучшие воины урпов и рухх. Те племена, по чьим землям пройдет кобыла, должны дать сопровождающим дюжину жеребцов – тогда жеребцы выкупа смогут покрыть Белую кобылу, и воины пойдут дальше. Если племя откажется – воины Белой кобылы сожгут стойбище. А давшие выкуп должны будут после этого являться на хурал по слову владельцев кобылы и выходить в набег по их приказу.

– Племя пуран даст жеребцов? – очень тихо спросил Безмозглый.

Кан-ипа со стуком вогнал саблю в завибрировавшие ножны.

– Наши жеребцы кроют своих кобыл! – крикнул он, и степь, вслушиваясь, притихла. – Безмо, ты поедешь дальше сам. Тебя ждет шаман Бездны, а мои руки сейчас нужны моему племени.

Кан-ипа помолчал и хмуро добавил:

– Но мне очень не хочется отпускать тебя одного, друг Безмо... Разное говорят люди об этом человеке...

– Знаешь, Кан, – задумчиво протянул Безмозглый, – не поеду я к вашему шаману. Что мне шаман и что я шаману? И главное, что вам шаманы – вам всем?..

Кан-ипа всей пятерней зарылся в густые спутанные волосы.

– Нам? – удивленно спросил он. – Нам – ничего. Совсем ничего. Разве что раньше... Дед Хурчи говорил, что до Четвертой волны песнопения шаманов диктовали Стихиям. Но некоторые из избранных помощников продали свои имена Бездне, а она взамен дала им силу Черного ветра. Только зря... У стен Города столкнулись Черный ветер и витражи городских словоделов – и что-то нарушилось в мире. Впустую теперь сотрясают воздух шаманы – с тех пор Стихии вольны и не слушаются их слов. Дед Хурчи видел бой, он сам застрелил престарелого колдуна, и тогда же секира немного словодела из беглых рабов рукх сделала Хурчи Кангаа хромым до конца его дней.

– Распалась связь времен, – отстраненно пробормотал Безмозглый. – Век вывихнул сустав, и в этот год был прислан я исправить вывих тот... Чума на оба ваших дома...

Кан-ипа уважительно посмотрел на него и добавил:

– Так говорит дед Хурчи, но я не понимаю и трети сказанного... а спросить никогда не решился.

– А надо было, – подытожил Безмозглый. – Глядишь, мы и поняли бы, кому нужны бес- сильные шаманы сейчас... Приходят ниоткуда, уходят никуда, советы дают... или все слушают их просто по вековой привычке?!

– Не нужны... – Непривычная мысль завладела возбужденным табунщиком, заполнив его целиком, без остатка. – Не нужны шаманы – не нужны! Совсем! Я понимаю тебя, великий друг мой Безмо! Я понимаю тебя... Шаманы – не нужны! Нужен другой... Совсем – другой... И мы тогда сожжем проклятый Город! Я понимаю тебя, очень-очень хорошо понимаю...

Крайне не понравилось насупившемуся Безмо новое понимание табунщика, и он было пожалел об опрометчиво сказанных словах, – но внимание его отвлекла новая пыль на горизонте, и он вгляделся в бурую завесу.

– Наши скажут, – буркнул Кан-ипа, мельком покосившись через плечо. – Догоняют. Видно, есть что сказать...

– Да, – ответил Безмозглый. – Видно, есть. Смотри, Кан, как пыль стоит... как занавес.

– Занавес? – непонимающе переспросил Кан-ипа. – Какой такой занавес?

Безмозглый попытался выжать из себя все ассоциации, связанные с родным и одновременно незнакомым словом – «занавес».

– Понимаешь, Кан... Занавес – это когда еще ничего нет. Еще до начала. Темно, тихо, и гулкое эхо в зале. А потом... потом «занавес!» – и вспыхивает свет, появляются люди, звучит слово... Ты понимаешь?

Кан-ипа молча кивнул.

Подскакавшие всадники остановились. Передний из них спешил и быстро пошел к ожидающим – уверенной, хозяйской походкой старейшины Гэсэра.

– Немедленно возвращайтесь! – В голосе старейшины пробились властные нотки. – Седлайте коней! Сейчас любой палец на счету... Табунщик – сразу иди к воинам, а Безмозглого – к мальчишкам, выюки грузить. И – живо!

Кан-ипа медленно двинулся на Гэсэра, и Безмозглый подумал, что не может быть таким пружинисто-страшным его веселый друг, табунщик Кан-ипа.

– Сын гадюки! – прошипел табунщик, белея и подергивая щекой. – Безмо не прикоснется к твоим вонючим выюкам! Не дело говорящего о неизвестном...

Казалось, Гэсэра хватит удар.

– Падаль! – перебил он наглеца, слишком возомнившего о себе. – Заткни свою протухшую пасть и вели этому болтливому дураку...

Кан-ипа шагнул вперед и сунул кривой нож в жирный живот старейшины Гэсэра Дан-гаа. Потом подождал, пока гримаса изумления остынет на мертвом лице. Потом повернулся к остальным.

– Ну?!

Никто не тронулся с места. Лишь старый Хурчи, увязавшийся с посыльными, слез с лошади, проковылял к убитому и, разжав ему скрюченные пальцы, вынул посох старейшины.

– Безмо открыл нам ночь! – провозгласил дед Хурчи. – Раньше мы думали, что в конце земного пути есть ничто, но теперь мы верим, что там есть Нечто. Кан-ипа нашел говорящего в степи. Кан-ипа убил старейшину племени Гэсэра во имя невысказанного. Пусть убийца спросит Безмо: что было в начале? Мы знаем, что будет в конце, – мы хотим знать, что было в самом начале! До людей, до света и до слова!

Кан-ипа выпрямился.

– Я знаю, что было в начале! – сказал он, и присутствующие затаили дыхание. – До света, до людей и до слова! Безмо открыл мне истину!..

Пауза. Привычная, знакомая пауза.

– В начале был Занавес!..

Старый Хурчи склонил голову и протянул табунщику посох старейшины. Остальные спешили и опустились на колени.

Безмозглый вздрогнул. Ему вдруг отчетливо примерещилась деревянная рассохшаяся от времени лестница, уходящая в пыльное серое небо из тюля и мешковины. Лестница раскачивалась, скрипела и грозила обвалиться. Он, скорчившись, сидел на первой ступеньке и глядел на мертвую голову, которую держал в руках. Ему было холодно и неудобно.

Он не хотел.

Глава 6

*И шел я дорогою праха,
Мне в платье впивался репей,
И бог,
Сотворенный из страха,
Кричал мне: «Иди и убей!»*

А. Галич

...Дымный сумрак пещеры медленно сгустился перед ним, и он испуганно отшатнулся от неясных любопытных теней, прячущихся за каменными кулисами, словно приглашающих его решиться шагнуть – шагнуть в Бездну...

– Входи, Безмо, входи, – раздался у него над ухом сухой, чуть насмешливый голос шамана; и реальность земного человеческого голоса заставила тьму пещеры попятиться и отступить. Безмо резко обернулся. Старик стоял у него за спиной в том самом потрепанном одеянии, в котором Безмо видел его в стойбище шесть лун назад, и гостеприимно указывал на боковой проход, которого – Безмозглый готов был поклясться в этом – только что не было.

...Потом они долго сидели на гладких и неожиданно теплых мраморных скамьях, сидели друг против друга, молча глядя на пляшущие языки огня и отбрасываемые ими причудливые тени; пили густое вино из больших глиняных кружек – Безмо все хотелось сказать «старое доброе вино», но он не знал, бывает ли вино молодым и злым, и стыдился своего незнания – шаман изредка поглядывал на гостя, гость – на хозяина, и тишина сидела рядом с ними, пила вино, смотрела, молчала...

Безмозглый не выдержал первым.

– Ну?... – спросил он и осекся. – Ну и зачем ты меня звал?..

Ехидство плохо скрывало неловкость и смущение; он почувствовал это и разозлился.

– Зачем? – Шаман подставил кружку под самое горлышко огромного жбана и осторожно стал наклонять его. – Поговорить.

– Тогда чего ты ждешь?

– Ничего. Мы уже давно разговариваем. И лишь теперь замолчали... Ну что ж, помолчим, – сказал шаман с едва заметной усмешкой. – Кто ты?

– Я? – искренне удивился Безмо. – Я – Безмо... Дурак, – добавил он, немного подумав.

– Дурак, – неожиданно согласился шаман.

– Зачем тогда спрашиваешь, если знаешь?

– А я не знал. Теперь – знаю.

Они снова замолчали. Безмо сунул нос в кружку и принялся размышлять. Может быть, он чего-то и не улавливал, но ему определенно начинало казаться, что один из них все-таки дурак. Если это он, Безмо, то шаману совершенно незачем с ним разговаривать. Но он позвал... Позвал – зная. Тогда получается, что в пещере сейчас сидят...

– Да, два дурака, – кивнул шаман. – Два глупца, которые случайно ввязались в одно и то же дело, и оба – по собственной глупости.

– Я не понимаю тебя, – честно признался Безмо.

– И не надо, – весело улыбнулся шаман.

Кстати, при ближайшем рассмотрении он выглядел не таким уж старым – особенно когда улыбался. Пожилым – наверняка, но еще крепким и отнюдь не дряхлым; и было совершенно непонятно, сколько же ему лет на самом деле...

– Ты умеешь быть другим, – сказал шаман. – Не собой. Ты умеешь проникать в чужую суть, вплотную подходя к границе безумия, но никогда не переступая запретную черту до конца.

Безмо согласно кивнул. Он чувствовал эту свою странность – но не мог бы выразить ее словами так, как сделал это шаман.

– Но тебе еще неведомы твои пределы. Со временем ты, вероятно, сможешь стать не только человеком...

– А кем? – заинтересовался Безмозглый. – Зверем?

– И зверем тоже. Но не это главное. Когда человек приходит в мир и идет по предназначенному пути – человек меняется. Но меняется и мир. Ты пришел, и ты меняешься слишком быстро. Следовательно... Так уже было – и не только здесь, – загадочно ответил шаман.

«Впрочем, шаманам и положено говорить загадками», – подумал Безмозглый и, немного осмелев, решился наконец задать вопрос, мучивший его все время.

– Скажи, шаман, а где твоя Бездна? Ты покажешь мне ее, правда, шаман?

– Вряд ли... И не зови меня шаманом. Мое имя – Сарт. Зови меня так – но только когда мы наедине. А Бездна... Она везде: вокруг нас, внутри нас и особенно – внутри тебя. Я полагаю, ты уже видел ее.

– Нет, – покачал головой Безмо. – Во всяком случае, не помню.

– Да, ты не помнишь, – согласился шаман.

Странная мысль пришла Безмо на ум, и тщетно затряс он головой, пытаясь отогнать гостью. Шаман Бездны ни разу не упомянул о Бездне, пока его не спросили, да и то – весьма неохотно. И вопросы он задавал какие-то неправильные, и нету у него того, что положено шаманам, – амулетов, птичьих перьев, снадобий... вино хлещет... Это был какой-то неправильный шаман по имени Сарт. Каким должен быть правильный шаман, Безмо точно не знал – но не таким! Это он почему-то знал твердо...

– А что ты здесь делаешь? – спросил он, сам удивившись сказанному.

– То же, что и ты, – спокойно ответил шаман Сарт. – Играю свою роль. Ты еще помнишь, что это означает?

Сарт впился вспыхнувшими глазами в лицо Безмо; тот попытался отвести взгляд, но не сумел, и в надвинувшемся тумане вырос деревянный холм, и пять узких желтых солнц, и глядящий на него мрак под куполом расписанного неба, чужие, дикие слова, чужая одежда, и мрак вдруг обрушился обвалом хлопающих звуков; он кланялся, кланялся, в изнеможении, моля о тишине, покое...

– Нет, не помню, – пробормотал Безмо, с трудом выныривая на поверхность обыденного. – Когда-нибудь вспомню. Потом.

– Ну что ж, тогда мы и вернемся к нашей беседе. Иди. Мне было приятно говорить с тобой.

...Уже у выхода Безмо обернулся.

– И все-таки, Сарт, что связывает тебя с Бездной? – бросил он в глубь пещеры последний вопрос.

– Я ее боюсь, – коротко и серьезно ответил шаман.

* * *

– Слушайте меня, люди племени пуран! Слушайте меня, взявшего посох старейшины Гэсэра по праву ножа! Слушайте!..

Легко сказать – слушайте... Ну, вот они стоят и слушают: суровые мужчины степей и испуганные женщины, беспощадные стрелки и дряхлые старцы, внуки и прадеды, сыновья и дочери – стоят, слушают... Кан-ипа никогда не умел говорить и страстно завидовал тем, кто

умел. Шаманам. Безмо... Табунщик уже поведал племени о смерти толстоязыкого Гэсэра Дангаа, о надвигающемся потопе воинов Белой кобылы, о тайне Занавеса – они слушали не перебивая, но Кан-ипа не видел в их глазах того блеска, того огня, который отсвечивал костром Безмо. Где ты сейчас, великий друг мой? Где...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.